

Р. С. ЧЕРЕПАНОВА

ЖИЗНЬ КАК РОМАН ПУБЛИЧНОЕ «ПРИВАТНОЕ» И ФЕНОМЕН «САМОСОЧИНЕНИЯ» В ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Представляемая статья анализирует феномен личного дневника с точки зрения переплетения в нем приватного и публичного. Выделяя разные уровни и языки приватности, рассматривая дневник как нарратив, автор опирается на работы Х. Уайта и на концепцию «самосочинения» (автофикшн). На примере одного конкретного личного дневника 1960-х гг. прослеживается тождество культурных, мировоззренческих и поведенческих стереотипов русской / советской, интеллигенции на протяжении двух столетий. Источник – личный дневник Николая В. из фондов Центрального Московского Архива-Музея Личных Собраний – впервые вводится в научный оборот.

Ключевые слова: *дневник, нарратив, приватное, публичное, дискурс, интеллигенция*

Несколько лет назад в одном из фондов Центрального Московского Архива-Музея Личных Собраний в мои руки попал личный дневник некоего молодого человека, Николая В-ского, датированный 1962-1967 гг. Документ этот, никого из исследователей, очевидно, прежде не заинтересовавший, производил странное впечатление искусственности и вымученности: словно автор писал его не из внутренних побуждений, а по обязанности, выполняя нелегкий долг. Поражало сочетание книжно-возвышенных оборотов с шокирующим натурализмом отдельных описаний. Озадачивали старомодные практики предоставления дневника для прочтения другим лицам (в частности, матери), или коллективного ведения записей (с друзьями). Удивляло огромное для двадцатилетнего «тепличного» юноши, количество мазохистских самобичеваний, вряд ли заслуженных. Не вполне обычным было и то, что дневник молодого человека хранился в бумагах его матери, довольно известного советского историка, и после ее смерти вместе с другими документами попал в ее персональный архивный фонд. А что же сам Николай, как сложилась его судьба? Информации на этот счет в архиве не имелось. После непростых розысков в социальных сетях мне удалось списаться с сыном Николая, который сообщил, что отец его, ныне покойный, прожил вполне заурядную и благополучную преподавательскую жизнь, никаких личных дневников домашним не оставил и о своем юношеском дневнике никогда при близких не вспоминал. В завершении беседы сын любезно разрешил мне использовать записи его отца в качестве исторического источника.

Прояснив этим разговором одни вопросы, взамен я получила другие. Почему Николай, уже пожилой к тому времени человек, отдал в архив вместе с бумагами матери и свой весьма откровенный юношеский дневник, но не выразил желания оставить потомкам никаких иных своих

документов? В то, что дневник мог попасть в собрание случайно – то есть в то, что профессиональный историк Николай передал в архив бумаги матери, тоже историка, хотя бы не просмотрев их – верилось с трудом. Если же столь интимный текст уже не был дорог своему автору, его (текст) можно (и должно) было бы или уничтожить, или передать сыну и внукам в качестве опыта «воспитания чувств». Однако Николай предпочел оставить свои самые сокровенные переживания духовного и физического плана на суд безвестного будущего коллеги-историка. Как прежде доверил их на хранение матери-историку. Или, точнее: историку-матери, поскольку духовно-корпоративные связи определенно оказывались в этом случае приоритетнее кровных и личных. На этом фоне то простое обстоятельство, что прочие свои бумаги, вполне прозаического и публичного характера, Николай в архив передавать не пожелал, также стало приобретать особое значение. Получалось, что интимное он сознательно стремился сделать публичным, а публичное (справки, статьи, открытки, дипломы, официальные автобиографии, какие в обилии писали советские люди по заказу различных партийных, профсоюзных и делопроизводственных служб) – оставить в интимном пространстве семьи.

Невозможно было от всех этих перевертышей не погрузиться в размышления о природе частного и публичного, и о природе дневникового пространства, в частности. Известно, что писание дневника чаще всего представляется занятием интимным, совершающимся исключительно для самого себя в ситуациях дефицита общения или же по причинам повышенной персональной рефлексивности и занудности¹. Существует, однако, и противоположное мнение о дневнике как о некоем общественном перформансе, хотя бы в силу того простого обстоятельства, что уже «сам акт письма подразумевает некоторую публичность, адресованность...»², а дневник, ведущийся в чистом виде «для себя», в идеале подлежал бы уничтожению³. Иными словами, как утверждают специалисты: «...многие дневники мы прочли, и ни один из них, кажется, не был предназначен исключительно для собственного употребления»⁴. В пользу именно второй интерпретации дневника как способа кокетливой игры вокруг темы приватности говорит и то обстоятельство, что еще задолго до появления блогов и ЖЖ – в XVIII и XIX столетиях – личные дневники активно передавались на прочтение друзьям и возлюбленным, оставались в наиздании внукам, завещались к посмертной публикации или даже издавались при жизни автора.

Все дело в том, что с самого момента своего изобретения приватность (которая есть в полной мере продукт Нового времени) выступала

¹ Михеев 2007. С. 5, 18.

² Савкина 2000. С. 104.

³ Михеев 2007. С. 123.

⁴ Кобрин 2003. С. 291.

маркером элитарности. Поэтому ее наличие гордо позиционировали и – каким бы оксюмороном это не казалось – публично демонстрировали. Соответственно кругу этого позиционирования, можно определить несколько уровней приватности: 1) для демонстрации обществу в целом и 2) своей социальной группе, 3) для демонстрации кругу знакомых, коллег, соседей, 4) для «использования» в компании друзей, любовников, семьи, 5) для самого себя (то, что может быть проговорено и, таким образом, сохранено в виде источников), и, наконец, 6) то, что невозможно проговорить даже самому себе, что остается вне речевых практик и, следовательно, в значительной своей части ускользает от исследователя.

Все эти уровни могут сосуществовать в личном дневнике, как средстве фиксации и позиционирования приватности, и ясно различаются по набору используемых речевых конструкций. Так, тексты, написанные в чистом виде «для себя» («пятый» уровень приватности) едва ли будут полны риторических вопросов, развернутых литературных описаний, пояснений о деталях, которые неизвестны посторонним, самооправданий и обращений («помилосердствуйте», «видите ли», «только ты, мой дневник», и т.п.), – то есть того, что выдает интервенцию публичности в виде литературных или политических дискурсов. Зато эти тексты полны сокращений и обрывов, непонятных для постороннего. Они кажутся скучными именно потому, что автор не описывает обстоятельства или чувства, а делает лишь пометки о них. Он может написать: «Получил письмо от Маши», или: «Замечательно гулял, много думал», или: «Поссорился с В.», или: «Опять А. С этим нужно что-то делать», и этого упоминания ему будет достаточно, чтобы через многие годы вспомнить и ситуацию, и свои переживания в этот момент. Классический пример такого рода записей – дневники Николая II, о которых принято было писать в советскую эпоху, что они поражают своей пустотой.

Все остальные тексты могут быть в той или иной степени признаны тем, что я уже назвала выше игрой вокруг приватности. В немалой доле случаев эта игра призвана удовлетворять тщеславие автора, который посредством дневника стремится показать миру и самому себе, чего он на самом деле стоит: как он умен, тонок, наблюдателен, какую интересную жизнь ведет, с какими солидными людьми входит в соприкосновение, и как его любят, наконец. Автор таких дневников может никогда никому их не показывать, и все-таки они будут написаны вовне, для публики («для истории») и принадлежать публичному дискурсу. При этом чрезвычайно интересно сравнивать, в каком градусе, в каком круге приватности помещаются у каждого конкретного автора хозяйственно-бытовые, физиологические, любовные, эротические или политические записи: что на самом деле для него является наиболее интимным, то есть наименее помещенным в публичный дискурс и наименее пригодным для озвучивания?

Дихотомия «публичное-приватное» становится еще более запутанной, когда речь заходит о текстах, рожденных в кругу интеллигенции. «Общее дело», наличие «общественных интересов» и гражданской позиции, которые очень часто по объективным причинам невозможно широко озвучить и тем более реализовать, становились неперенными атрибутами внутренней («частной») жизни российских интеллигентов, как дореволюционных, так и советских. Для них заменой неосуществленной гражданской деятельности и формой привлечения общественного внимания нередко выступал гипертрофированный интерес и болезненное фокусирование на интимной стороне человеческого существования и человеческих взаимоотношений, демонстративное выставление интимности напоказ в качестве своеобразного симулякра «свободы». Кого-то к этому подталкивало классическое интеллигентское стремление к «побиванию» телесности ради возвышения «духа». В некоторых случаях можно предположить и чисто художественное любопытство к творческим экспериментам на грани порнографии.

Наконец, не стоит отождествлять собственно приватность и язык говорения о приватности. Одно вполне может не совпадать с другим или существовать без другого. Когда, анализируя автобиографический текст полуграмотной женщины «из народа» Евгении Киселевой, Н. Козлова и И. Сандомирская утверждают, что в том кругу, в котором живет автор, еще не сформировалась область приватности⁵, хочется возразить, что, на самом деле, Евгения Киселева имела ровно ту же «частную жизнь», что и большинство советских людей. Но вот язык, которому эта женщина училась в начальной школе, по советским газетам, официальным речам, телепередачам, язык ее рабочего и зачастую полумаргинального окружения едва ли был пригоден для публичного выражения и передачи этой приватности. Впечатление «пустоты» от дневников Николая II или Брежнева также в первую очередь создает их язык – язык функционеров, привыкших к стилистике официальных документов. Но совсем другую картину мы обнаруживаем в дневниках интеллигенции. Даже в сталинскую эпоху, стремившуюся предельно сжать и поставить под государственный контроль сферу приватного, эти люди, активно читавшие классическую литературу, могли выражать и выражали свои чувства, в зависимости желания и настроения, в разных оттенках, от насыщенно-грубоватого до прозрачно-лиричного. Ярким примером тому служит известный дневник совсем молодой девушки, дочери московского журналиста Нины Костериной. С детства погруженная в литературную среду, она замечательно свободно владеет разными языками выражения приватности, описывая и свой быт, и свои эстетические, гражданские, дружеские и даже эротические (в самых разных нюансах) переживания. Здесь ей, как и многим дру-

⁵ Козлова, Сандомирская 1996. С. 67.

гим дневниковписателям, конечно, приходят на помощь многочисленные романы и повести, с XVIII в. лавинообразно захватывающие литературный рынок, написанные в форме дневника, и, соответственно, обучающие читателя тому, какие события следует включать в приватное пространство, как их переживать и каким языком описывать. Эти произведения предписывают порядочному человеку иметь, обдумывать и переживать как явления своего приватного пространства события эстетические, «гражданственные», эротические, а также, разумеется, особое место занимает «дружба» и размышления о ее природе. Все эти элементы мы ожидаемо находим в дневнике интеллигентной девочки Нины Костериной. Она демонстрирует все причитающиеся аспекты состоявшейся приватности духовно развитого человека. А богатство языка, способность выстроить связный нарратив, обилие персонажей, каждый из которых прослежен в собственной внутренней эволюции, многоуровневость повествования (мы видим картины внутреннего мира автора, события личной и семейной истории, школьного и университетского сообществ, страны в целом), и, наконец, невероятная для «простой школьницы» литературность дневника Нины Костериной поднимают его практически до уровня герценовских «Былого и дум». И, так же, как в случае с Герценом, заставляют поставить вопрос о степени фактической достоверности этого «дневника». Допридумывание, «подправление» реальности в сторону, удобную для поддержания желаемой самоидентификации автора, является важнейшей функцией дневниковписания вообще, но в некоторых случаях возвышается до уровня autofiction, сочинения себя, самосочинения⁶. Человек не только пишет свою жизнь, как роман, но и тут же проживает ее как роман. Так, добрую половину своей, Героя и Борца, биографии, как она зафиксирована и в дневниках, и тем более в «Былом и думах», Герцен художественно «подправил», тут же, на ходу, искренне проживая описываемые чувства и обстоятельства⁷. В других своих сочинениях («Кто виноват?», «Доктор Крупов») не очень яркий беллетрист, хотя и мечтавший о славе большого писателя, Герцен лучший свой роман написал о себе самом. Причем слово «роман» следует понимать не в метафорическом, а в самом буквальном смысле, как обозначение литературной формы, развивающей «драму самоидентификации» героя (Х. Уайт), рисующей его трудный путь к себе. Даже не поднявшийся до подлинного autofiction, простой и безыскусный дневниковписатель все равно пребывает в рамках романного мышления, то есть выстраивает свои записи драматургически, организывает их ритм, медленные философские размышления чередует с «экшенами», следит за красотой и выразительностью фраз, развивает сюжет – о становлении личности центрального персонажа – и, соответ-

⁶ Левина-Паркер 2010. № 103.

⁷ Подробнее об этом см., напр.: Малия 2010; Паперно 2010.

ственно, относится к своему образу в дневнике как к персонажу. Нельзя не отметить по этому поводу поразительную драматургическую выстроенность дневника Нины Костериной, в котором читатель последовательно проходит через «пролог» (наслаждение невинностью мира и самой героини), затем через момент «грехопадения» мира и героини (арест отца, мучающие ее и кипящие вокруг нее чужие страсти), затем следует преодоление кризиса, апофеоз и катарсис (приход настоящей зрелой любви, осознание истинной дружбы), и, наконец, закономерный итог-подвиг, к которому все предшествующее было только приготовлением (уход героини на фронт и ее последующая гибель). Свой дневник, включая самые сокровенные его страницы, Нина изначально писала не только для себя: он нередко бывал доступен ее приятелям, он был прямо завещан ее друзьям, а обращен, по сути, к самой широкой аудитории близких по духу интеллектуалов. И так же, как «Былое и думы» стали, по меткому замечанию Ирины Паперно, матрицей для русской интеллигентской автобиографической и дневниковой прозы, дневник Нины Костериной, опубликованный в начале 1960-х в «Новом мире», а затем отдельным изданием, вызвал определенную волну подражательства в кругу советской интеллигентской молодежи. Одним из таких дневников-подражаний в значительной мере являются и обнаруженные мной записи Николая В-го.

В первый раз юноша принялся за них в 19-летнем возрасте преимущественно из чувства тоски по идеальному понимающему другу («Мой милый», «Теперь я бы хотел рассказать тебе», — обращается он к дневнику), но также и в целях амбициозно-профессиональных: «Я уже давно собирался вести дневник. Во-первых для того, чтобы наконец научиться правильно писать, т.е. писать грамотно. Во-вторых мне, как будущему историку, будет интересно узнать, вернее не узнать, а вспомнить о событиях и людях, которые меня окружали, о моих взглядах на окружающий меня мир», «Все, что здесь пишется, разумеется, не для всеобщего прочтения, а так, для себя» (здесь и далее сохранены оригинальные авторские орфография и пунктуация)⁸. Впрочем, кажется, автор немного лукавит, и пишет свои заметки скорее не себе как будущему историку, а просто *будущему историку*, который напишет его, Николая, биографию: «Для того, чтобы легче и свободнее писать в дневнике я хотел бы вначале рассказать ему о себе, о том, кто я, кто мои родители и т.д. и т.п.»⁹. Возможно также, это первый приступ писания автобиографии или мемуаров — приступал же Герцен к аналогичным записям с самой молодости. Разного рода отсылки к Герцену вообще будут встречаться в дневнике Николая постоянно. Возможно, потому, что Герценом и народниками профессионально занималась мама нашего героя. Но можно предположить и

⁸ ЦММЛС, ф. 23, оп. 1, д. 236, л. 2.

⁹ Там же.

более глубокие причины. Имя Герцена и его судьба стали для русской, в т.ч. советской, интеллигенции, особым кодом, пропуском в корпорацию. Помимо записей Николая и дневников Нины Костериной, помимо мемуаров Людмилы Алексеевой, помимо исследований на эту тему Ирины Паперно¹⁰, сошлюсь на пример моего собственного отца, не литератора, не ученого и не диссидента – обычного врача, который, тем не менее, всегда был просто одержим Герценом, постоянно в библиотеках изучая материалы о нем и в рассуждениях о советской власти неизменно апеллируя к его имени. Очевидно, авторитаризм и «застой» эпохи Николая I смыкался в сознании советской интеллигенции с жесткостью сталинского режима, с «застоем» позднего Хрущева и Брежнева, а Герцен, в быту своим человек самодовольный и эгоистичный, любивший и ценивший комфорт, достаточно свободно говорящий о собственных эротических переживаниях, вырвавшийся из суровых объятий Родины в эмиграцию, неуспокоенный и мятежный по природе, застрявший между буржуазным индивидуализмом и идеей социальной справедливости, выступал символом всего, что интеллигенция связывала со свободой. Герцен – это был ее, интеллигенции, желаемый образ себя, коллективный автопортрет, объект самоидентификации. «Сейчас сидел и читал дневниковые записи Герцена. Сравнивал со своими. Глупо! И вот начинаешь себя грызть и терзать. А стоит ли? Не лучше ли пустить все на самотек? Пусть все идет как идет. Авось кривая вывезет. Опять глупо. Тем человек и отличается от животного, что делает все по разуму. Ведь человек может все!»¹¹. В этой трогательной записи Николая так и слышен стиль Герцена, весь его упрощенный просветительский рационализм.

Как Герцен сопрягал свое рождение с нашествием Наполеона и национальным подвигом, так юный Николай сопрягает свое рождение с успехами в другой Отечественной войне. Как Герцен, Николай, по видимому, рожден вне брака (и первый, и второй мужья матери были репрессированы в 1930-х и вскоре погибли, сведениями о третьем ее замужестве мы не располагаем). Как Герцен, он бравирует своим дистанцированием от отца и глубокой связью с матерью: «Родился я в городе Красноярске в год великого перелома на фронте, в 1943 г. Мама говорит, что после того, как я родился, отступлений почти не было. 28 апреля, т.е. в день, когда начинается роман Л. Толстого «Воскресенье». Об отце я знаю очень мало. Знаю только, что фамилия его была Юрьев, а звали его Алексей, даже отчества я его не помню»; «Кажется, в 1940 году, когда мама была в лагере, у них родился сын Юрик, который в том же году и умер. Вообще мама почему-то не любит рассказывать об отце. Я не знаю, да и не хочу знать, кто он был, ведь это и неважно. Для меня отец вылил-

¹⁰ См., напр.: Паперно 2009.

¹¹ ЦАМАЛС, ф. 23, оп. 1, д. 236, л. 26-об.

ся в лицо биологическое, которое на определенной стадии выполнило свою отцовскую функцию, а затем исчезло или было убито на войне». Тот факт, что рождение двух детей не может быть результатом случайной и ничего не значащей связи, и что мать может молчать об его отце по другим причинам, нежели равнодушие, нашему юному максималисту в голову не приходит. Второй муж матери, профессор МИПИ, кажется Николаю более пригодным на роль духовного отца. Во-первых, потому что он был ученый; во-вторых, потому, что отбывал срок в сталинских лагерях – погибшая, но несломленная жертва режима. Почти как Герцен.

Другой несомненный Герой, еще более близкий Николаю – его мать. Она умна, деятельна, организована; пройдя через лагеря, сумела добиться реабилитации для себя и, посмертно, для обоих своих репрессированных мужей; не только вернулась в профессию, но и достигла в ней статусных высот; она постоянно прикрывает оплошности сына и дает ему профессиональные советы, она курит и у нее «мужской» голос. Она, несомненно, Супер-Эго для Николая. Мы видим это очень типичное для русской интеллигенции переворачивание гендерных ролей, когда мужчины рефлексивны и женственны, а женщины решительны и жестки, и Николай признается: «Для меня отцом всегда была мать»¹². Она, безусловно, подавляет масштаб своей личности этого наивного юношу, самого младшего и единственного выжившего из троих ее детей, слабо начитанного и пишущего с ошибками, несмотря на старания репетиторов. Он должен как-то соответствовать матери и стоящим за ее плечами призракам дорогих ей людей. Но как? И Николай, как ему кажется, нашел ответ: он должен стать выдающимся историком и написать или книгу о матери, или, шире, вообще о жертвах сталинских репрессий. Николай даже думает начать записывать рассказы «реабилитированных» и приобрести для этой цели магнитофон (как и следовало ожидать, дальше мечтаний дело у Николая не пошло).

На этом первый приступ дневникописания у молодого человека закончился. После коротких заметок июня-августа 1962 г., совершенно «публичных», адресованных городу и миру и всему человечеству, последовал полугодовой перерыв: поступление в МГУ, которое, по замыслу Николая, должно было коренным образом изменить его жизнь и продвинуть к исполнению избранной миссии, не состоялось по причине сокрушительного и, по-видимому, заслуженного провала на вступительных экзаменах. Судьба взяла паузу – и автор дневника тоже взял паузу. Стимулом к возобновлению записей в феврале 1963 г. стало первое знакомство Николая с дневником Нины Костериной: «Совершенно потрясающая вещь», «эпоха отражена, по словам мамы, очень хорошо. Здесь

¹² Там же, л. 2.

есть все и вера в будущее, и любовь и проч. В общем, понравилось очень. И я решил снова начать писать дневник»; «Конечно, понятно, что если полгода назад я писал ерунду, то за это время мало что могло измениться. Сейчас я учусь на подготовительных курсах в университет»; «Сейчас я сравнил, что делала Нина в моем возрасте, что она успела, и что успел за это время я. От этого становится еще более неприятно»¹³.

Таким образом, у дневника Николая теперь появляется еще одна важная, непроговариваемая, но от этого еще более значимая, мистическая функция: подтолкнуть судьбу, которая почему-то медлит с великими событиями и проявлениями его, Николая, талантов. Дневник становится средством заклинания судьбы: «Итак сегодняшний день может быть решающим в моей жизни», «Когда же я осознаю себя, свои возможности?», «Вокруг меня множество людей, считающих меня личностью незаурядной...»; «Как хочется, чтобы все побыстрее кончилось, чтобы я, наконец, узнал свою судьбу»¹⁴, и т.п. В общем, молодой человек снова, со второй попытки, готовится начать свой жизненный Роман, свою книгу становления, ярких встреч, жизненных исканий. Поскольку в романе, разумеется, должна присутствовать любовь, и в дневнике Нины прекрасно выписано вызревание чувств во всей их сложности, Николай вводит в свое повествование двух барышень и даже пытается по этому поводу изобразить какую-то неловкую интригу из сочетания дружбы и ревности (что-то подобное как раз описано у Нины). Но получается неубедительно и более всего напоминает вымученные «головные», (т.е. выведенные из теории) любви русских западников XIX в.¹⁵

Но не только с любовью, а и с самым главным – жизненным призванием – судьба решительно не спешила подыгрывать Николаю: летом 1963 г. он снова не смог поступить на вожделенный истфак. Так патетически готовиться к научному поприщу, расти вблизи столь выдающихся персон – и дважды оказаться несостоятельным: поистине, жизненный Героический Роман Николая никак не складывался. Согласно известной классификации, другими возможными нарративными формами, помимо Романа, выступают Комедия, Трагедия и Сатира¹⁶. Но кто же захочет в двадцать лет осмыслять себя как комедийного или сатирического персонажа? Поэтому, если не Роман, то Трагедия. И вот записи Николая достигают поистине чеховского драматического накала: «Вся моя сознательная жизнь прошла очень скучно, серо, однообразно, в общем гадко и гнусно. Ничего не сделано»; «Я хочу быть историком. Но ведь историков очень много, а таких, как Тарле, Ключевский, Дружинин, Панкрато-

¹³ Там же, л. 11.

¹⁴ Там же, л. 40, 41, 27-об.

¹⁵ См. об этом, напр.: Фреде 2001.

¹⁶ См.: Уайт 2002.

ва, таких очень мало. А быть серятиной не хочется, очень не хочется»; «Сколько было намечено? А сделанного? Ничего, почти, не сделано»; «А пока тоска и больше ничего. Никакого действия»¹⁷, и т.д.

Однако Трагедия логически должна заканчиваться гибелью или мира, или Героя, а так далеко Николай зайти был не готов, да и поприще для красивой гибели в мирном 1963 г. найти было нелегко. В итоге Николай, устав от пафоса страданий, возвращается к романной форме, но теперь он пишет уже не героический роман, а, так сказать, реалистический, представляя в своем дневнике как иронический бытописатель, бесстрастный и ценный свидетель времени, взрослый и умный игрок, этакий Печорин. Периодически эта маска Печорина слетает с Николая, выдавая в нем наивного, домашнего и закомплексованного мальчика, но затем водружается на прежнее место. Хотя похожий конфликт идентичностей («Циник» vs «Идеалист») еще в XIX в. описали такие столпы романного жанра, как Достовский («Подросток») и Тургенев («Первая любовь»), в силу слабой начитанности Николая трудно сказать, насколько он был осведомлен о своих литературных прототипах и в какой степени мог их «проживать». Во всяком случае, оба эти персонажа дневника, «Циник» и «Идеалист», как Джекилл и Хайд, имеют собственные языки и общаются с читателем на разных уровнях приватности. Если «Цинику» для его рискованных откровений нужен доверительный собеседник, приятель, то мечтательный «Идеалист» обращается сразу ко всему человечеству или в крайнем случае к духовно близкой корпорации интеллектуалов.

В образе «Циника» Николай прагматично замечает, что надо бы решить, чем заниматься целый год, до следующей попытки поступления. Не хотелось бы попасть в армию. Не исключен вариант, рассуждает он, что и на следующий год поступить на истфак не удастся, в этом случае можно переориентироваться на медицинский институт. Устроенный вскоре матерью на какое-то скромное место в Институт истории, Николай здраво предполагает, что если с третьей попытки все-таки поступит в университет, то потом обратно на такую хорошую работу вернуться уже не сможет, и эта перспектива вызывает в нем сожаление. Кроме того, в Институте начались сокращения, и Николай тревожится о том, что им вдвоем с матерью (семейственность!) будет непросто удержаться. Довольно желчно критикует Николай и межличностные взаимоотношения в Институте, когда: «Все время надо грызться то с одним, то с другим», и «Всюду склоки»¹⁸. Игра в Печорина диктует и определенные отношения с женщинами. К сожалению, реальных отношений с женщинами в жизни Николая почти нет, и он описывает – цинично, как и полагается Печорину – свои вполне невинные фантазии и познания. «Немного сблизился с

¹⁷ Там же, л. 2-об., 3, 26-об., 32.

¹⁸ Там же, л. 6, 13-об., 14, 28-об.

Юркой Кривченко. Ему около 26, и он страшный бабник. С ним занято, хотя и не очень он много знает о женщинах, но весь его мир сосредоточен в тряпках и в женском поле. Т.к. я в этом деле еще совершенный ребенок, то эта близость даже имеет свои положительные стороны. Он показал мне и дал прочесть маленькую брошюрку индуса «Три трактата о любви». Возбуждение было сильнейшее. Внутри все кипело. Голова затуманилась, от того сладостного чувства, которое ожидает мужчину в половой любви»; «Мне кажется, что вся любовь это есть половые отношения»; «Женька говорит, что любить можно и дуру, лишь бы была мордочкой ничего. Я думаю наоборот любить можно и некрасивую, но не дуру и не мешанку. Хотя красота здесь и играет определенную роль»¹⁹.

В образе «Идеалиста» Николай разворачивает борьбу со своими несовершенствами, физическими и духовными. Лень, неспособность к самоорганизации, недостаточная эрудиция, – свои пороки он разбирает обстоятельно и беспощадно, при этом стиль его абсолютно публичен. В этом Николай, возможно, сам того не зная, продолжает традицию еще дореволюционной русской интеллигенции к выставленному на суд товарищей и всего мира нравственному самообнажению. Особенно много гнева, отчаяния и нравственных сил он посвящает греху самоудовлетворения. Едва ли юноша, который к тому времени не читал даже хрестоматийных критических статей Белинского, мог читать его переписку с Бакуниным и Боткиным середины 1830-х гг., и вряд ли о содержании этих писем Николаю рассказывала его мать, профессионально занимающаяся русским западничеством и народничеством. Но и по градусу откровенности перед корпорацией, и по сладострастной ненависти к телесности во всех ее проявлениях, и по общей мазохистской интонации Николай прекрасно вписывается в двухсотлетнее наследие русской интеллигенции.

Убедимся сами. Белинский – Бакунину: «Я начал тогда, когда ты кончил – 19-ти лет... Сначала я прибег к этому способу наслаждения вследствие робости с женщинами и неумения успевать в них; продолжал же уже потому, что начал. Бывало в воображении рисуются сладострастные картины – голова и грудь болят, во всем теле жар и дрожь лихорадочная: иногда удержусь, а иногда окончу гадкую мечту еще гадчайшей действительностью»; «Бывало Ст(анкевич), говоря о своих подвигах по сей части, спрашивал меня, не упражнялся ли я в этом благородном и свободном искусстве: я краснел, делал благочестивую и невинную рожу и отрицался»²⁰. А вот как пишет об этой же стороне своей жизни Николай: «Вообще меня как-то неестественно возбуждает вид моего, да и не только

¹⁹ Там же, л. 30-об., 21-22.

²⁰ Данные отрывки были процитированы в статье В. Сажина «Рука победителя. Выбранные места из переписки В. Белинского и М. Бакунина» («Литературное обозрение», 1991, № 11), а также вошли в работу И. Кона «Клубничка на березе: Сексуальная культура в России».

моего тела. Мне сразу хочется... и сегодня я с трудом себя сдерживал. Все это я считаю своим самым основным пороком, от которого мне очень трудно избавиться. Это вконец изматывает меня и затем, после свершившегося бывает страшно неловко перед собой. Начинаешь себя грызть за это и повторять, что это в последний раз, а в следующий раз, забыв обо всем, снова повторять то же. Мне это уже надоело и опротивело»; «После этого было, как всегда, угрызение совести и т.п. Весь день из-за этого себя чувствовал отвратительно»; «Дошло дело даже до того, что пришлось выйти во двор, не найду ли одной девочки, которая, я знаю, питает ко мне кое-какие чувства, разделить со мной постель. Конечно, не нашел, а если бы нашел? Что тогда? Смог бы я это сделать? Думаю, что смог. Потом было бы гадко на душе. Как, впрочем, и сейчас. Но человек в такие минуты превращается в совершеннейшее животное, которому надо удовлетворить свои потребности, свою похоть. Человек теряет контроль над собой, он выходит из повиновения, разума»; «Мне Женья Виттенберг рассказывал в воскресенье как все это делается. И он и она превращаются в зверей. Больше зверь, конечно, он. Он борется с ней, чтобы обладать ею. И она, подчиняясь, ему отдается. Эта борьба, должно быть, страшно выматывает человека, отнимает силу, как, впрочем, и все другое»; «Мне бы все-таки хотелось испытать это животное чувство, даже с проституткой»; «Мне иногда хочется наложить на себя руки, до того я бываю противен. Слабый, пошлый трус, который ни на что не способен, даже красиво любить, вот каков я»²¹. Заметим, что эти записи адресуются Николаем именно корпорации, а не самому себе: это видно по литературности описания вкупе с уклонением от непечатных слов и выражений. Можно сказать, что друга Бакунина рядом нет, но он подразумевается. Целью таких признаний интеллигенции всегда было предполагаемое в результате нравственное возвышение, самосовершенствование.

Кодекс духовно развитой интеллигентной личности предписывает иметь «гражданственность» и быть политически активным. Николай страстно записывает критические замечания в адрес советской системы в целом, отмечая ее гипербюрократизированность, выхолощенность, отсутствие у людей должной веры и идеалов. Он отдает себе отчет в том, что пишет «крамолу», и наслаждается этим: «Боже мой, если бы эти записи прочли наши руководители, что бы было. Крамола»²². «Крамольные» записи делает преимущественно «Циник», со свойственной ему адресацией «для своих» и закрытостью перед «чужаками»: «Только что пришла мама. Рассказала несколько любопытных историй, характеризующих степень разложения в правящей верхушке. Приходишь к выводу, что <порядочнее> всех Хрущев, или потому что мы о нем мало что знаем.

²¹ ЦАМАЛС, ф. 23, оп. 1, д. 236, л. 5-об., 24 об.-25.

²² Там же, л. 7.

Гнуснее всех этот подонок Козлов. Говорят, что он получил два инсульта. И подделом ему. Во-первых, он антисемит и имеет выговор. Представляю, что надо было сделать, чтобы получить его. Потом он с головой ушел в г. и грязь. Ему хочется власти, этой сволочи. Представляю что с нами будет»²³. Недоговоренные обстоятельства, ясные автору текста, но неясные нам, посторонним читателям, стыдливый намек на нелитературную лексику красноречиво свидетельствуют о переходе разговора на более высокий градус интимности. Вот так политика для советского/русского интеллигента оказывается подчас более интимной сферой, чем секс.

Еще в XIX столетии в основе политического сознания интеллигенции укоренилась дихотомия «власти» и «народа». И вот, в свои неполные двадцать лет, летом 1963 года советский юноша Николай посредством дневника делится с человечеством собственными планами «хождения в народ»: «Если же человек-руководитель отрывается от народа, стоит над ним и считает народ «винтиком и гаечкой», и держит народ в страхе и повиновении, тем хуже он делает для народа, тем скорее сойдет о нем память, и народ его будет ненавидеть и презирать. И вот для того, чтобы узнать жизнь, узнать народ я, если не сдам экзамены, уйду «в народ», т.е. пойду по стране пешком и буду зарабатывать себе кусок хлеба физическим трудом. Но я буду в гуще народа, я узнаю его. Я узнаю жизнь. Хороша ли она, или ее стоит переделать»²⁴. Заметим по этой записи за внешним смирением Николая его огромное скрытое честолюбие. Так кем же он собирается стать на самом деле? Историком или народным вождем? Возможно, что роль Героя/Герцена Николаем просто отложена до лучших времен, но не забыта. Проговаривается же он время от времени то о «бомбе», то о «революции», без которых «ничего изменить нельзя»²⁵.

Проговаривается и даже готовится. Так, во исполнение этой высокой цели, почти принял решение об огромной жертве: хотя бы на несколько лет полностью отказаться от чувственной стороны жизни. «Сейчас сижу на работе, — отчитывается он. — Передо мной моя соседка, Наташа, очень интересная». Из последовавших намеков можно понять, что Наташу и Николая связывает некий невинный флирт. Именно его-то Николай и намеревается кинуть на алтарь революции, поскольку сакральная природа революции и героизма требует абсолютной нравственной и физической чистоты: «Я дал себе слово, что к ней я никогда не прикоснусь. И вообще к женщинам. Я считаю, что Рахметов был прав, когда говорил об этом»; «Никаких женщин до 25 лет...»; «Это не монашество. Если бы я родился в 30-х годах, этого тоже не было бы, т.к. я был бы воспитан сталинской эпохой. Но когда сейчас идет борьба

²³ Там же, л. 27.

²⁴ Там же, л. 21.

²⁵ Там же, л. 19-об, 20, 27.

между старым и новым, <...> когда народ еще спит <...> я не могу не вести такой образ жизни»²⁶. Невозможно не вздохнуть по прочтении этой записи: бедная Наташа! Бедные русские женщины, подруги русских интеллигентов! Именно так с ними и поступали за столетие до Николая В. и Станкевич, и Белинский, и Боткин, что вполне исчерпывающе описал в свое время еще Милюков²⁷.

Впрочем, когда перо берет Циник, оказывается, что на самом деле Николай вполне спокойно готов пользоваться минусами только что раскритикованной Идеалистом бюрократической системы, в частности, пресловутым советским «блатом». Он надеется, что историю сдаст в любом случае, «лишь только потому, что у меня мама историк и экзаменаторы будут знакомые», а в случае возникшей в Институте угрозы перевода его на худшие условия работы, Николай тут же «побежал звонить маме!», и угроза была ликвидирована²⁸. В конце концов, именно благодаря связям матери Николаю удалось в этом же 1963 г. поступить на вечернее отделение истфака, однако связей этих оказалось недостаточно, чтобы тут же, по горячим следам, перевести Николая с вечернего отделения на дневное. Записи 1963 года заканчиваются Николаем в сентябре на вполне позитивных тонах: он все-таки попал в университет и устроен на престижную и перспективную работу. Жизненный роман продолжается, и, как принято писать в таких случаях, «прошло несколько лет».

Следующий эпизод начинается 1 января 1967 г. ожидаемой констатацией, чего за это время достиг и не достиг автор: «Уже 4 курс. 23 года. Студент. Историк. <...> Подвожу итоги и намечаю планы. Итоги плачевные, планы неосуществимые». Кажется, что за прошедшие годы в Николае Печорин одержал верх над Рахметовым, но вскоре выясняется, что это не совсем так: теперь в юноше поселился тоскующий от пустоты сердца Онегин, причем на пару с философствующим Иваном Карамазовым. Последний «выдумал себе бога», у которого просит о своих желаниях и тот ему «иногда помогает», но «об этом говорить нельзя» никому. Никому нельзя, но дневнику можно – градус интимности дневника существенно повышается, балансируя между уровнями «только для себя» и «для самых близких друзей, которых пока нет». Декларируемый Карамазовым «высокий» повод к возобновлению дневника («выразить и понять себя») тут же корректирует Онегин: повод к возобновлению дневника – нереализованная потребность любить, значит, требуется не просто понять себя, а, конкретно, понять, почему любви до сих пор нет в его жизни. Литературно и эмоционально записи Николая выглядят более тонкими и зрелыми, а его отношения с девушками впервые и наконец настоящие, а

²⁶ Там же, л. 19-об. – 20.

²⁷ См.: Милюков 1902.

²⁸ ЦДАМЛС, ф. 23, оп. 1, д. 236, л. 22-об., 30.

не придуманные: «Поводом для этой малиновой тетради послужили сегодняшние события. В 11 часов встретился с Наташей. Ее совсем не знаю, она очень трудная, но вместе с тем по-детски забавна. Мы расстались совсем детьми. Сейчас ей 19, мне 24 – разница возрастов не так ощутима как в 7 и 13 лет. Очень много изменилось. Мы пытались по ее инициативе встречаться – не выходило, что-то мешало. Она скрытна и замкнута, очень издергана и не нашла еще себя, впрочем, как и я. <...> Для нее не существуют авторитеты, не говоря уж об авторитете родительском. Как и у всех у нее сейчас есть куча мальчиков, но отношения ее к ним – загадка. Вообще же Наташа сама для меня загадка. Что она есть? – не знаю»²⁹. Вторая мучительная и старая загадка – «Алка»: «Началось это и давно и недавно. С 7 класса и с этой зимы, после возвращения из Польши»; «Года 1½ назад я ее поцеловал впервые, бог мой, как она побледнела, ей стало дурно – отчего? Затем зимой я начал математически помогать ей – зачем, не лучше ли сохранять чисто дружеские отношения. Нет, мне этого мало, у меня никого нет, мне кто-то нужен. Я выбрал ее. Не жалею. Сначала все шло прекрасно, она начала привыкать ко мне (глупо звучит), затем пробежал какой-то холодок». Заметим, как деликатно и сдержанно, без натуралистических описаний, на сей раз Николай рассказывает об интимной стороне своей жизни. Просто она, эта сторона, наконец появилась, и ничего больше не нужно доказывать ни окружающим, ни самому себе. Демонстративно-статусная функция дневника исчерпана. Теперь дневник нужен Николаю прежде всего как эмоциональная отдушина. Молодой мужчина не может, а возможно и не хочет делиться своими сложными и мучительными чувствами с реальными собеседниками. Остается только дневник, и вряд Николай теперь, как когда-то в 1963 г., согласен будет предоставить его на прочтение и суд матери.

Градус интимности новых записей Николая: «только для себя», хотя выбранный для записей язык все-таки принадлежит публичному дискурсу – это романский язык говорения об интимном. «Сейчас... лучше бы этого не было», – с горечью продолжает Николай анализировать свои отношения с «Алкой». – «Она меня боится, что может быть хуже. «Я ее мучаю» – вот как. Сегодня она смотрела на меня почти с ненавистью. Разговаривали о съезде писателей. Я сказал, что Шолохов и его пр-ния дерьмо. Она – надо разграничивать личность от произведения. Я – у меня эти понятия совмещены. Шолохов как личность хорош в Тихом Доне (которого я, кстати, не читал), но дурен и глуп в Поднятой Целине (читал). Она стала защищать и Поднятую и Судьбу ч-ка. Я возразил, что Твардовский как личность и как автор несравненно выше Шолохова. Она – а чего стоят его стихи о Сталине. Я – а кто не писал – все писали. Она – Но ведь у него они бездарны. Я – Ничуть не хуже, чем Шолоховские. Она

²⁹ Там же, л. 33.

– «Теркин в аду» – бред и мелкие уколы, у тебя величайшим пр-нием сов.лит-ры оказывается Гинзбург (мне не понятно ее отношение к ней, она говорит что это страшно, все, что описывает Гинзбург, но в чисто литературном отношении это бездарно. Для меня Гинзбург не литературное произведение, а действительность, через которую прошли миллионы сталинских жертв). Я – Несомненно правдивее писать как Гинзбург, чем как Шолохов в Поднятой целине. <...> Я ушел. Постараюсь ей не напоминать о себе. К чему дразнить ее. Я и сам не знаю люблю ли ее или так, привык просто. Но что она меня не любит, и мне не верит несомненно. Алка... Алка... Тяжелые мысли, идиотское настроение, неверие себе и в себя. Что-то будет. Подумаешь, – а к чему все это, не лучше ли все бросить и кинуться в мутный и грязный поток жизни, засосет и ладушки. Нет, чего-то трепыхаешься, ведь человек же, а не пиявка»³⁰. Эта сцена, когда юноша и девушка, как бы разговаривая о литературе, на самом деле выясняют и разывают ставшие тягостными для обоих личные отношения (смесь старой школьной дружбы, детской влюбленности, физического притяжения и, возможно, неловкости за разочаровавшую физическую близость) действительно заслуживает попадания в роман, она психологически очень глубока, трагична и определенно литературно хороша. Жизненный роман Николая приобретает глубину и красоту, наверное, это само по себе может служить утешением дневниковписателю. Заметим также, что «антисистемные» настроения Николая, конечно, больше не включают мечтаний о «бомбе», но, тем не менее, зреют и крепнут.

Заканчивается эпизод 1967 года рассказом о коллективной (с друзьями, матерью и ее коллегами – настоящая арбатская интеллигенция, профессура, как комментирует Николай) поездке на Валдай. Характерно, что Николай начинает эпически описывать природу (какой же роман без описаний природы!), но запись обрывается буквально посреди незаконченного предложения. Жизнь, какие-то неотложные ее обстоятельства, отвлекли Николая от изображения этой жизни. И хотя дальше Николаем был оставлен чистый лист, очевидно, чтобы потом в спокойной обстановке, дописать впечатления, но впечатления эти так и остались незаписанными. Жизнь не только отрывала Николая от литературы, но и явно побеждала ее. Николай, путешествующий с ручкой и тетрадкой, очевидно, вызывал шутки приятелей, и в итоге они принялись диктовать Николаю, что именно он должен записывать. Под заголовком «Запись Морякова, сделанная В-ким», следует совершенно иной по стилистике текст. Легко и иронично описывается поход всей компании, когда молодежь пытается (успешно) втайне от родителей оживить себя алкоголем, Николай называется Колюней, властный голос его матери именуется «трубным прокурренным басом». Автор слегка подтрунивает над зависимостью Николая

³⁰ Там же, л. 33 – 34-об.

от матери, затем прямо берет в свои руки перо и продолжает уже от себя писать в дневнике Николай: «Мне надоела лит. обработка В-го, который думает по ½ часа над словом и сюсюкает о колхознице». Новый автор в дневнике Николая, Моряков, явно предпочитает романному жанру Комедию. Попутно делая ценнейшие бытовые зарисовки, он описывает приключения фляги с чудодейственной жидкостью, которую нетрезвые уже путешественники (точнее, молодая часть их компании) чуть не утопили, уронив за борт: «Капитан маневрировал 10 минут, Колюня с дикими воплями носился по палубе. С берега пловец бросился в пучину озера...», затем, «выматерившись, гребец, наконец, водворил ее на корабль. Тысяча благодарн.», правда, Николай все-таки «получил по лбу» от матери, которая посчитала, что ее сын проявил такую активность именно потому, что он и утопил флягу. «Дальше все было спокойно. Вскоре мы уже ужинали и пили водку», «Пьяный В. ...кадря девок двигался по Валдаю. От девок он получил наименование <неразб.> Тогда он стал врать, что он Васька Шуйский личный друг царя Бори Годунова. Реакция была та же. Они (девки), наверное, не знали истории. Разгневанный Коля отправился лечить раны оскорбл. души на пристань»³¹. Нельзя не отметить, читая эти записи, что для историка, в плане житейских подробностей, Комедиограф определенно выглядит предпочтительнее Романиста.

Следующий и последний эпизод дневника приходится на 1969 год. Николай пытается писать диплом, переживая и по этому поводу и вообще глубокое разочарование в себе самом. Ругает себя за лень, растрату времени, безволие, поверхностность мыслей и суждений. Насколько можно этому верить, вот вопрос. Ведь именно так воспитывал себя в своих дневниках, к примеру, Лев Толстой. И как Лев Толстой, Николай каждый день составляет список необходимых дел и буквально заставляет себя их выполнять. Недюжинная работа над собой, на самом деле.

Самое же главное заключается в том, что Николай наконец находит для себя подходящее жизненное поприще, на котором можно стать Героем (Борцом с Системой), оставаясь в рамках реальной, простой, обыденной жизни. Идеальное сочетание. Что же это за поприще? – «Берут меня в качестве технического секретаря Отдела комплексных проблем истории, на самую минимальную ставку – 74 рубля. Эта работа представляется мне пока что наиболее удобной по след. причинам. 1) Проблемы, разбирающиеся здесь очень интересуют меня. Эти проблемы носят чисто теоретический, отвлеченный характер, связанный с поиском новых методологических теорий всемирноисторического процесса. Работа эта идет, как мне кажется по двум различным направлениям – переосмысление марксистской теории, очистка ее от догматических положений, которые были привнесены сюда извне (сталинизм, эконом. материализм и др.) – правда, не

³¹ Там же, л. 35 – 37-об.

учитывается, а м.б. и учитывается догматическая природа м<аркси>зма. Если и учитывается, то в свете знаменитой фразы Ленина о том, что м<аркси>зм не догма, а руководство к действию, т.е. что м<аркси>зм, как живое учение изменяется и должен изменяться под воздействием постоянно меняющихся исторических условий. Ведь многие положения м<аркси>зма, верные для XIX и начала (даже середины) XX вв. в настоящее время не имеют никакой силы и превращаются в догматические лозунги, удобные для правящей элиты удерживать массы в повиновении, отучающие, а у нас отучившие массы думать, а следовательно критиковать элиту. <...> Другая струя в разработке методологических основ исторической науки держится, как мне кажется другого, еще не окончательно выразившегося направления – замена марксистской теории, другой, на данном этапе более верной и прогрессивной теорией. Причем здесь есть кажется, сочетания м<аркси>зма как метода с новыми идеями в современной философии (структурализм и др.). <...> Это же в свою очередь, такая подготовка, <которая> может в дальнейшем, но не обязательно, явиться толчком для колоссального взрыва, который разрушит варварскую, абсолютно не демократическую и уж конечно, никак не социалистическую систему. Такой Отдел, в котором я буду работать»³². Иначе говоря, Николай собирается устроиться в Отдел по теоретическому разрушению Системы/Государства. Это не бумажная и малооплачиваемая скучная работа – это исполняется его собственная «Герценовская-клятва-на-Воробьевых-горах», данная на первых страницах дневника: бороться с системой. Именно так. Дневник не обрывается, не остается незавершенным, как можно было бы вначале подумать; он заканчивается открытым финалом – распространенный и красивый литературный прием. Теперь можно было бы придумывать ему подходящее название, может быть, «Что делать?» или «Накануне». Именно эта, через столетия, устойчивость и воспроизводимость сознания русской интеллигенции, со всеми его стереотипами и комплексами, независимо от актуального политического режима, поражает в дневнике Николая больше всего. Можно, впрочем, поставить вопрос шире и вести речь вообще о специфике интеллектуальной корпорации с ее особым нравственным кодексом и особым этосом в странах «догоняющего развития»³³.

Работая с любым источником личного происхождения, необходимо делать поправку на нарративный жанр этого текста (Роман, Комедия, Трагедия, Сатира) и на внутренний автобиографический «сценарий» его автора (Герой/Борец, Золушка, Колобок, Спящая Красавица, Шут, и т.д.)³⁴. Дневник Николая В-го – это, безусловно, роман (история о становлении личности и поисках себя), а жизненный сценарий, лежащий в его

³² Там же, л. 42-об. – 43.

³³ Подробнее об этом см.: Черепанова 2010.

³⁴ Подробнее об этом см.: Черепанова 2015.

основе – история о Герое/Борце. В роман (дневник) вошли именно те эпизоды, которые раскрывали тему подготовки протагониста к героическому поприщу (включая крах «личного счастья» или отказ от него под разными предложениями). При этом Николай совершенно не лгал, как не лгали ни Герцен, ни Нина Костерина, он просто максимально подгонял свои реальные жизненные обстоятельства под желаемую картину жизни. И, прекрасно уже понимая, что никакой он на самом деле не герой, Николай закончил свой роман именно на том моменте, на котором следовало: Герой выходит на поприще. Если бы повествование продолжилось, несостоятельность нашего протагониста неизбежно обнаружилась бы, и тогда пришлось бы менять жанр рассказа на Комедию, Трагедию или Сатиру. Поэтому Николай поступил совершенно правильно: вовремя закончил текст, отдал его на хранение Истории (матери-истории, так и хочется сказать), и, очевидно, продолжил свою жизнь в некоем новом сценарии. Что это был за сценарий, остается только гадать: доктор Дымов с философией малых дел? «Маленький честный человек» из романов Достоевского? Разочарованный умница Версильов? Очевидно только, что самоощущение Николая продолжало оставаться романным: вся его жизнь была долгим и трудным путем к себе, к примирению с собой, к обретению собственной идентичности. И можно твердо сказать, что роман этот завершился красиво. Основания для такого вывода предоставляет мне одно маленькое, но крайне важное обстоятельство: единственного и позднего сына Николай назвал именем того самого, по-видимому, очень простого, человека, своего родного отца, которого он никогда не видел и о котором он так жестоко и пренебрежительно отзывался в молодости – Алексей.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Paperno, Irina. Stories of the Soviet experience: memoirs, diaries, dreams. Cornell University Press, 2009. 304 p.
- Козлова Н.Н., Сандомирская, И.И. "Я так хочу назвать кино". "Наивное письмо": опыт лингво-социологического чтения. М.: Гнозис; Русское феноменологическое общество, 1996. 256 с.
- Кобрин К. Похвала дневнику // Новое литературное обозрение. 2003. № 61. С. 288-295.
- Левина-Паркер, Маша. Введение в самосочинение: autofiction // Новое литературное обозрение. 2010. № 3 (103). С. 12-40.
- Малия М. Александр Герцен и происхождение русского социализма 1812 – 1855. Пер. с англ. А. Павлова, Д. Узланера. М.: Территория будущего, 2010. 568 с.
- Милоков П. Из истории русской интеллигенции. Сборник статей и этюдов. СПб., 1902. 331 с.
- Михеев М.Ю. Дневник как эго-текст (Россия, XIX-XX). М.: «Водолей Publishers», 2007. 264 с.
- Паперно И. Интимность и история: семейная драма Герцена в сознании русской интеллигенции (1850-1990-е годы) // Новое литературное обозрение. 2010. № 3 (103). С. 41-66.
- Савкина, И.Л. Я и Ты в женском дневнике // Models of self. Russian Women's Autobiographical Texts. Ed. by Marianne Liljestrom, Arja Rozenholm and Irina Savkina. Helsinki: Kikimora Publication, 2000. С. 103-118.
- Уайт, Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. 527 с.

- Фреде, В. История коллективного разочарования: дружба, нравственность и религиозность в дружеском кругу А.И. Герцена – Н.П. Огарева 1830-1840-х гг. // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 159-190.
- Черепанова, Р.С. «Заведомый антигерой»: русская интеллигенция в комплексах борьбы и подвижничества // Нева. 2010. № 11. С. 165-187.
- Черепанова, Р.С. «Обычный наблюдатель»: XX век в воспоминаниях провинциальной интеллигенции. Опыт чтения и интерпретации текстов устной истории / Р.С. Черепанова. Челябинск: «Каменный пояс», 2015. 402 с.

REFERENCES

- Paperno, Irina. Stories of the Soviet experience: memoirs, diaries, dreams. Cornell University Press, 2009. 304 p.
- Kozlova N.N., Sandomirskaya I.I. "Ya tak khochu nazvat' kino". "Naivnoe pis'mo": opyt lingvo-sotsiologicheskogo chteniya. M.: Gnozis; Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo, 1996. 256 s.
- Kobrin K. Pokhvala dnevniku // Novoe literaturnoe obozrenie. 2003. № 61. S. 288-295.
- Levina-Parker, Masha. Vvedenie v samosochinenie: autofiction // Novoe literaturnoe obozrenie. 2010. № 3 (103). S. 12-40.
- Malia M. Aleksandr Gertsen i proiskhozhdenie russkogo sotsializma 1812–1855. M.: Territoriya budushchego, 2010. 568 s.
- Milyukov P. Iz istorii russkoi intelligentsii. Sbornik statei i etyudov. SPb., 1902. 331 s.
- Mikheev, M.Yu. Dnevnik kak ego-tekst (Rossiya, XIX-XX). M.: Vodolei Publishers, 2007. 264 s.
- Paperno I. Intimnost' i istoriya: semeinaya drama Gertsena v soznanii russkoi intelligentsii (1850-1990-e gody) // Novoe literaturnoe obozrenie. 2010. № 3 (103). S. 41-66.
- Savkina I.L. Ya i Ty v zhenskom dnevnike // Models of self. Russian Women's Autobiographical Texts. Ed. by Marianne Liljestrom, Arja Rozenholm and Irina Savkina. Helsinki: Kikimora Publication, 2000. S. 103-118.
- Uait Kh. Metaistoriya: Istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta, 2002. 527 s.
- Frede V. Istoriya kolektivnogo razocharovaniya: druzhba, nravstvvennost' i religioznost' v druzheskom krugu A.I. Gertsena – N.P. Ogareva 1830-1840-kh gg. // Novoe literaturnoe obozrenie. 2001. № 49. S. 159-190.
- Cherepanova R.S. «Zavedomyi antigeroy»: russkaya intelligentsiya v kompleksakh bor'by i podvizhnichestva // Neva. 2010. № 11. S. 165-187.
- Cherepanova R.S. «Obychnyi nablyudatel'»: KhKh vek v vospominaniyakh provintsial'noi intelligentsii. Opyt chteniya i interpretatsii tekстов ustnoi istorii. Chelyabinsk: «Kamennyyi po yas», 2015. 402 s.

Черепанова Розалия Семеновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета; rozache@mail.ru

Life is like a novel. “Public privacy” and phenomenon of “autofiction” in the tradition of the Russian intelligentsia (on material of the diary of Nicholas V.)

The article analyzes the phenomenon of personal diary through the weave of private and public spheres in it. The author relies on the work of H. White and the concept of autofiction in highlighting different levels and languages of privacy, and considering the diary primarily as a narrative. One personal diary of the 1960s has been used; author illustrates the details of cultural identity and behavioral stereotypes of Russian intellectuals for over two centuries. Personal diary of Nicholas V. from the collections of the Central Moscow Archive-Museum of Personal Collections has been analysed for the first time

Keywords: diary, narrative, private, public, discourse, intellectuals

Rozalia Cherepanova, PhD. (History), assistant professor of Russian History Department, South Ural State University; rozache@mail.ru